

Детство мое прошло в уральском рабочем городке, приютившемся среди гор. Дымил в нем завод, чадила дымом и угольной пылью станция. Дыму было так много, что перед ненастной погодой деревянные низкие дома тонови в мутном тумане.

Была в городе одна прямая улица — центральная, с булыжной мостовой. Осенью и весной все движение и вся жизнь сосредоточивались на этой улице и возле железнодорожной линии, потому что по другим улицам и переулкам из-за грязи становилось ни проехать, ни пройти.

Летом было наоборот. На этих улицах и в переулках зеленела трава, они обновлялись, светлели и делались вроде бы шире. На мостовой же бывало до того пыльно, что пыль зачерпывалась в неглубокую обувь, кружилась в воздухе, скрипела на зубах, серым слоем оседала на стриженных ребячьих головах, и стоило кого-нибудь из них хлопнуть по голове, как от него, словно от мучного мешка, густо клубился и медленно-медленно оседал пепельно-серый бус.

Люди в городке жили разные: и победнее, и побогаче. И гостились-роднились они соответственно.

На нашей Линежной улице вдоль железнодорожной линии стояли в ряд одноэтажные деревянные дома с палисадниками и без палисадников. Народ здесь жил трудовой, спокойный, жил по-соседски уважительно и дружно.

На центральной улице было больше домов двухэтажных, и жили там люди интеллигентные: учителя, врачи, продавцы и начальники. К начальникам мы относили тех, кто на работу ходил с портфелями или с папками и в чистой одежде.

Была в городе еще одна улица, пожалуй самая знаменитая, звалась Коммунальной. Вся она была сплошь из бараков, новых и старых, уже покосившихся и по окнам вросших в землю. Бараки эти почему-то назывались дома-

ми жилкооперации. Из-за них и улицу чаще называли Жилкооперацией. Говорили, например: «В Жилкооперацию нынче мануфактуру привезли», или: «Из Жилкооперации бабы сказывали...», или еще: «На Жилкооперации пожар случился...»

Наш дом стоял в низине, двумя окнами выходил на линию и двумя в огород. Внутри он был разделен на комнату и кухню. В кухне с потемок и до потемок хозяйничала мать: хлопотала у печи, громыкала ухватами и чугунами, варила семье обед, готовила пойло корове, стирала. Находились на кухне дела и для нас: надо было толочь вареную картошку курицам, мыть посуду, носить воду, щепать лучину, цедить квас, чистить медный самовар.

Комната была по семье — большая. В простенке меж окон, выходявших к линии, стоял большой стол, над ним висело зеркало с выбитым внизу углом, от которого наискосок бежала трещина, сначала прямая и широкая, потом она тоньшала и уже чуть заметным волоском обрывалась, не достигнув верхнего угла. Когда мы ссорились между собой, то в первую очередь непременно делили это зеркало пополам, по трещине, и с боями отстаивали «свою» половину. Дело доходило до того, что мы гамозом взбирались на стол, шаткий, с проносившейся на углах клеенкой, хватались за зеркало, толкали друг дружку. И плохо бы тому зеркалу пришлось, если бы из кухни не выходила мать.

Однажды бой за зеркало разгорелся особенно жаркий. Галка, ухватившись за угол рамки, с такой силой рванула его на себя, что повалилась со стола. Гвоздь из стены вырвался и повис на пеньковом шнурке, на котором держалось зеркало. Мы оцепенели, но зеркало из рук не выпускали. Гвоздь раскачивался на шнурке, и в разом наступившей тишине было слышно, как он позвякивал о зеркальное стекло.

Выскочила из кухни мать. Галка захныкала, мы, прислонив зеркало к стене, начали сползать со стола. Мать поглядела пристально на каждого, с силой давила себе ладонью грудь, поморщилась и сказала:

— Завтра же велю Антону записать которых на площадку. — И ушла в кухню.

Галка с Нинкой стали ходить на детскую площадку, организованную летом в пустующей железнодорожной школе. Площадка эта была вроде пионерского лагеря, только ходили туда на весь день и школьники, и малыши. Я любила провожать сестренку на площадку, любила смотреть на воспитательницу тетю Дусю, ласковую, красивенькую, с часами на руке.

Отец вбил новый гвоздь, повесил зеркало на место, и мы с той поры больше его не делили.

В переднем углу был приколот угловик, над ним полочка с иконами, перед которыми в канун праздников и в праздники мать зажигала лампадку. В другом углу один на другом стояли два кованых сундука, покрытых пестрыми ковриками из лоскутков. В верхнем сундуке лежали рубахи, белье, полотенца, в уголке — сверток с документами и домовая книга. Туда же мать убирала письма, нечасто приходившие от родственников, и отцовскую получку. В нижнем сундуке хранились скатерти, Ольгино новое одеяло и другие вещи поценней.

У заборки, разделявшей избу на комнату и кухню, стояла узкая железная кровать, заправленная одеялом из разноцветных клинышков. Одну спинку кровати прикрутили проволокой к гвоздю в заборке — чтоб не шаталась. На кровати спала старшая сестра Ольга; а иногда отдыхал отец.

На окнах висели филейные шторы в половину окна: мы их сами вязали и расшивали. Крашеный пол по праздникам застилали домоткаными половиками в ши-

рокую полосу, стол и угловик покрывали кружевными скатертями, которые когда-то давно связала мать, — и в избе у нас сразу делалось красиво. В такие дни мы вели себя смирно, по полу ходили босиком, не возились, чтоб не сбить половики и не запачкать скатерть. Но такое житье быстро надоедало, и мы бурно радовались, когда наступали будни, половики с полу снимали, вытрясали и укладывали на Ольгину кровать под матрац, а скатерти убирали в сундук — до следующего праздника.

Еще в комнате было много табуреток, отцовская седуха и стояла на кирпичах чугунная печка. А в простенок у порога было вбито с десятков гвоздей, и на них надеты катушки из-под ниток — вешалки.

На ночь мы стол отодвигали, стлали на полу от стены до стены постель и спали на ней вповалку.

Линия перед нашим домом делала пологий изгиб, будто нарочно подворачивала поближе, и оттого, наверное, когда мимо проходил состав, особенно товарный и особенно ночью, изба наша начинала мелко подрагивать, сначала потихоньку, затем сильнее, сильнее, и казалось, она вот-вот сорвется с места и тоже помчится вслед за составом. Но шум постепенно затихал, и изба, еще чуть подрожав, успокаивалась, замирала до следующего поезда. Мы, ребята, могли безошибочно отличить басовитый свисток «Феликса Дзержинского» от густого гудка «Серго Орджоникидзе», а уж от тонких, пронзительных свистков маневрушек — и подавно.

Семья у нас большая: девять ребят и отец с матерью. Старшая сестра Ольга — невысокая ростиком, белолицая, плотная, как репка, подвижная и веселая. Русые волосы ее вились крупными кольцами. Мать рассказывала, как Ольга маленькая тяжело болела скарлатиной, как ее еле выводили, как она медленно и трудно потом выздоравливала. Но еще медленнее отрастали ее стри-

женные волосы. Зато как отросли, так и закучерявились. На левой щеке у Ольги отметина, как родимое пятнышко: в детстве ее клевал петух. Смеялась Ольга звонко, заразительно, делала все ловко и споро. Она ходила в рукодельный кружок и дома между делами строчила для себя наволочки и комбинации. У Ольги уже был синий шевиотовый костюм и коричневые туфли на венском каблучке, с двумя ремешками крест-накрест. Для нас обутки шил и чинил отец, а вот Ольге сшили туфли на заказ. И еще лежит в нижнем сундуке голубое сатиновое одеяло, легкое и пышное. Мы сами его стежили, и мать уверяла, что красивей и лучше никто выстежить не мог, — это Ольге приданое.

С Ольгой мы жили дружно, я ее очень любила, и мне нравилось наблюдать, как она старательно и красиво вышивает. Я только часто думала, что, наверное, трудно быть в семье старшей: уж очень много приходится делать, да еще с маленькими возиться. И самое удивительное, Ольга все исполняла, что бы ни заставила мать, не сердилась, не препиралась, как мы, не говорила: «Опять я?» Глядя на Ольгу, и мы старались не отлынивать от дел, слушаться матери и не досаждать ей.

За Ольгой шли братья, Коля и Володя, близнецы, спокойные, трудолюбивые, очень дружные и очень похожие друг на друга. Светлые волосы у обоих крутыми козырьками торчали над лбом, руки были крепкие, губы полные, голоса грубоватые. Они носили одинаковые рубахи и фуражки, одинаковые сапоги с союзками. По имени их никто почти не называл, им говорили «парни» или «ребята». И дела для них подбирали такие, которые сподручней делать вдвоем: копны на покосе носить, дрова пилить, навоз в огород вывозить.

Были у парней и свои занятия: они выстругивали из липовых поленьев фигурки разные, еще делали сапож-

ные колодки и гнули из фанеры самодельные чемоданы — маленькие и побольше. Все свободное время они возились, летом под навесом, зимой возле буржуйки, пыхтели и так же тихо радовались, если выходила удача.

Отец уважительно относился к увлечению сыновей, по-своему одобрял, иногда в их отсутствие подолгу рассматривал чемодан или замысловатую фигурку, чуть заметно улыбался и бережно клал на место. Когда надо было прошивать стельки или делать деревянные шпильки, отец не отрывал парней от заделья, а, если время терпело, откладывал работу до другого раза.

Антон, третий брат, был двумя годами моложе близнецов и вовсе на них не походил. В семье он вел себя на особицу, самостоятельно, при случае командовал нами, проверял тетрадки, сам учился хорошо. Из пионеров перешел в комсомол и стал выполнять много общественных поручений: отвечал за школьный уголок природы, по вечерам чертил какие-то диаграммы, графики и схемы. Со старшеклассниками в школе разговаривал как равный, если было дело, смело входил в учительскую, отчитывал на перемене раздурившуюся малышню. И в школе и дома за такое поведение Антона часто ставили в пример.

Было и у Антона свое увлечение: он любил рисовать портреты. Срисовывал их с открыток, с картинок, со старых учебников. Широко располагался за столом, доставал жесткую белую бумагу, клал перед собой карандаш, линейку, резинку, расчерчивал лист на клетки, на такие же клетки делил портрет или картинку и старательно, по клеткам срисовывал. Мы, бывало, облепим стол со всех сторон, глядим и не дышим, чтобы не подтолкнуть. После мы подолгу с завистью и интересом рассматривали портрет Ленина, Пушкина или Гоголя, нарисованный Антоном. С испугом и восторгом мать

смотрела больше и пристальней на Антона, чем на портрет, глаза ее постепенно влажнели, и делалось понятно, что именно на Антона мать возлагает какие-то особые надежды.

Может, так оно и было бы, если б не случай...

Однажды мы не успели разойтись из-за стола, как Антон поднялся и решительно заявил, обращаясь к матери:

— Мама, завтра мы будем убирать с церкви крест, будем закрывать церковь — постановление такое вышло. И нам тоже надо снять иконы. Религия — это темнота и дурман, отсталость и опиум... Ты сама или мне?... — смешался Антон, посмотрев на мать, изготовившуюся перекреститься после еды.

А она, с занесенной ко лбу рукой, так и окаменела. Так и стояла. Так и глядела на Антона пристально и горестно.

Все молчали. Васютка стал слезать со скамейки, загляделся, не дотянувшись ногами до полу, упал и захныкал.

Мать очнулась:

— Вот что, сынок, — она медленно опустила руку, оглядела всех и устало, но твердо заговорила: — Что вы там решили насчет церкви — дело ваше, раз решать взялись. Токо что я тебе скажу: переделывать нас не тебе. Мал еще. Да и поздно... А не глянется — так вот тебе бог, — мать кивнула на иконы, — а вот тебе порог, — со смыслом посмотрела она на дверь, а потом на Антона.

После она никогда не вспоминала этот случай, но к Антону сделалась настороженней и, если соседки по привычке ставили его в пример, хмурилась и разговор такой не поддерживала, будто не слышала.

Антон остро почувствовал перемену в матери, переживал, даже выслуживался перед ней, но безуспешно, зато к нам неожиданно сделался ближе, добрей.

Я в семье средняя, и положение мое в семье было несколько странное. Иногда мне говорили, что я большая, в другое время — что еще мала. И всякий раз я не знала, куда меня причислят, к большим или к маленьким, и чем мне лучше заниматься, делами или играми, и как вести себя.

И, наверное, оттого, что я часто не знала, какая же я на самом деле, большая или маленькая, я очень привязалась к отцу и любила его тихой, затаенной любовью. Отец это, видимо, как-то чувствовал и никогда меня не обижал. Правда, он вообще никого из нас за всю свою жизнь ни разу пальцем не тронул, но меня, как я теперь понимаю, незаметно ласкал и баловал.

Моложе меня — Ленька, с голубыми чуть навывкат глазами и большой головой на тонкой шее. Ленька с малолетства боялся коров, любил поспать и мог на спор с разбегу лбом открывать настежь дверь из избы.

За Ленькой — Галка, тоненькая девчонка. У нее жиденькие до плеча косички, острые глаза, маленький твердый носик и покладистый характер.

Нинка и Васютка пока малы, и говорить о них много нечего.

Мать у нас небольшая, полногрудая, крепко сбитая и неутомимая. Волосы она заплетала в нетолстую косицу и закалывала на затылке шпильками. Держала она нас в меру строго, иногда маленько баловала, но терпеть не могла, если мы болтались без дела и слонялись из угла в угол, если у кого-то оборвалась пуговица, проносилась пятка либо рукав порван на локте. Она и сама была всегда опрятна и всегда занята. И, наверное, поэтому мы смотрели на других мам не очень серьезно и думали, что вот у нас мама — настоящая мама!

Все она делала быстро и ловко, ничего не проливала, не роняла. Если выкраивала ребятам рубахи или нам

платья, то расчерчивала и резала материал уверенно, а после терпеливо показывала Ольге и мне, как заделывать обшлага на рукавах, как петли метать.

У других ребята, бывало, ластятся к матери, лнут. У нас такого не было. Если мать и присаживалась ненадолго, то колени ее никогда не бывали свободными: на них всегда шараборил ручонками, ворковал или посапывал у груди маленький.

Отец работал составителем поездов. Прежде их просто сцепщиками называли. Работа у составителя тяжелая и опасная.

Особенно трудно отцу приходилось зимой. Промасленные рукавицы не удерживали тепло, руки в них коченели еще пуще, а голой рукой ни к чему не притронешься. Колеса у вагонов гулко скрипели, еле крутились, стрелки в стылом тумане были чуть различимы. Всюду скрежет, стук, скрип и простуженное пыхтенье паровозов.

Большой палец на правой руке отец рассек на покосе литовкой. Прошло время. Зажил палец, только сгибаться перестал, смешно оттопыривался и мерз пуще других. Мать обшила напалок рукавицы изнутри меховым лоскутом — и стало получше.

Придет отец утром после ночной смены: кончик его большого с горбинкой носа озноблен, брюшки пальцев у рук — тоже. Шагнет отец в избу, впустит клубы густого холодного тумана, постоит с минуту, поставит в угол фонарь, похожий от куржака на большую елочную игрушку, и начнет с трудом, медленно развязывать и снимать башлык, шапку-ушанку. Затем снимет полушубок, огладит усы. Заметив перед собой сухие теплые валенки, подставленные кем-нибудь из нас, тяжело опустится на табуретку и одним только взглядом попросит того, кто поблизости, пособить снять стылые валенки.

Мы кинемся к отцу, и не по одному, а сразу двое, а то и трое — нас же много! — тянем валенок, хохочем, а то и подеремся. Отец смотрит, смотрит на нас тепло, устало и скажет:

— Ну, ладом же надо. Вот та-ак.

И все.

Переобувшись, отец умывался, шумно сморкаясь, и садился за стол. А на столе — двухлитровая кринка молока с порыжевшими от печного жара краями. Молоко холодное, топленое, с затвердевшей золотистой корочкой, да каравай хлеба, только что вынутый из печи, круглый, мягкий, пахучий. Мать принаравливалась испечь хлеб к приходу отца, знала, как он любит, пуще пирогов, такой горячий, мягкий хлеб.

Отец опять оглаживал усы, ногтем большого, не сгибающегося пальца протыкал хлеб сначала вдоль, потом поперек. Похрустывала под его пальцем корочка, и по избе разносился хлебный дух. Затем отец бережно брал каравай в руки, разламывал его по этому пунктиру на четыре части и клал перед собой еще горячие, ноздристые куски. Неторопливо наливал в кружку молока и принимался есть.

Съест отец весь каравай до крошечки, и молоко все выпьет. Тут же, не выходя из-за стола, свернет сигарку, покурит уже сомлело, спокойно и отправится на печку спать.

Мучительно тянулось время, когда отец работал в ночную смену. Тогда мать строго-настрого наказывала, чтобы никого и слышно не было. Мы все это понимали, разговаривали только шепотом, рисовали, стругали, шикали беспрестанно друг на дружку и все поглядывали на печь: скоро ли отец выпится?

Он просыпался часа через четыре, и мы сразу оживали: можно было шуметь, играть и даже драться.